

РАЗОМКНУТЫЙ КОНТУР

Вспоминать трудно. Кажется, все было вчера.

Москва. 4 октября 1993 года. В городе целый день стреляют. На душе муторно; в этот день уничтожили наши последние перестроечные иллюзии. А у нас в РГГУ семинар «Языки культур», доклад Нины Брагинской с абсолютно академическим названием «Автаркия - греческое слово или новоевропейский термин?». Потом пьем чай и притихше обсуждаем политические события. Звонок Саши Добкина – беда, Феликс в больнице. Ночной город, военные патрули: «Документы, документы!», белая подземная дорога, палата, вердикт доктора и через полчаса все.

Между тем, прошло более 15 лет. Саша Добкин, Александр Иосифович Добкин, автор и редактор исторических альманахов «Память» и «Минувшее», скончался всего через пять лет - в августе 1998 г. Мы еще успели с ним издать в 1995 г. «In Memoriam» Феликса, следующий том был уже его памяти. Так они и стоят у меня на книжной полке: первый – Феликс, второй – Саша.

С Феликсом Федоровичем Перченком я познакомилась в Москве в Архиве Академии наук где-то во второй половине 1980-х годов. Он собирал материалы для истории Приютинского братства, дружеского кружка будущих столпов российской науки и либерализма - Д.И.Шаховской, В.И.Вернадский, братья С.Ф. и Ф.Ф.Ольденбурги, А.А.Корнилов и др.¹ Их многолетняя переписка сохранилась в некоторых государственных архивах, в советское время мало или совсем недоступных для независимого исследователя. Как только архивы стали приоткрываться, Феликс немедленно отправился во всевозможные читальные залы и копировал, копировал, копировал, словно не веря, что такая удача - надолго.

Однако, в Архиве Академии он регулярно получал отказ на многие дела из фонда академика В.И.Вернадского с объяснением: «Занято за сотрудником архива». Оно подозрительно походило на традиционный «советский» отказ и в какой-то момент Феликс решил лично удостовериться, кто этот «поручик Кижее», если он вообще

¹ Позднее важная часть этой работы нашла отражение в нашей совместной публикации: (Ф.Ф.Перченко, А.Б.Рогинский, М.Ю.Сорокина): Шаховской Д.И. Письма о братстве // Звенья: Исторический альманах. Вып.2. М.-СПб.: Феникс-Атенеум, 1992. С.174-318.

существует. Так мы познакомились, подружались и «скооперировались» (модное словечко того времени) на все немногие отпущенные Феликсу годы.

Наша встреча была неожиданной, в иные времена наши дороги вряд ли бы пересеклись. Советский писатель так бы и сказал: «Их подружило само Время, не надолго спутав маршруты».

В самом деле, у меня было типичное счастливое советское детство – с любящими родителями, Черным морем, солнцем во все небо, абрикосами и персиками – ведрами, и т.п. Затем хорошая московская школа, где английский преподавали приехавшие в СССР по обмену американские учителя; днем, вместо занятий, витийствовали Генрих Боровик, Фарид Сейфуль-Мулюков и Игорь Фесуненко, вечером, на школьных вечерах, играла «Машина времени». Здесь можно было встретить Алексея Эйснера, Юрия Сенкевича, Якиров, и много-много других родителей - дипломатов, журналистов и разведчиков, профессоров и академиков, актеров и режиссеров, чьи имена мало что значили в то время для нас и очень много – для окружающих. Благодаря их связям мир становился абсолютно доступен и мы регулярно катались по всему Союзу – даже летние «трудовые лагеря» нам устраивали в Прибалтике. Еще больше читали, преимущественно «дефицитную», т.е. лучшую для того времени, литературу, получаемую родителями по ЦКовским спискам, а заодно и «самиздат», активно циркулировавший в академической среде; слушали полузапретную западную музыку, запивая ее самым дешевым грузинским вином. Словом, это был, как пелось у Юрия Антонова, «ясный и счастливый мир». Он был абсолютно вписан в советскую систему и столь же абсолютно разлагал ее изнутри. Хотя дети, выросшие в этом легальном мире, как правило, в дальнейшем учились в престижных вузах и повторяли и / или превосходили карьеру успешных родителей, пополняя собой бессмертную советскую номенклатуру, телевидение, академические институты и клиники, с закатом советской империи подавляющее большинство «одноклассников» покинуло страну, а те из оставшегося меньшинства, кому удалось пережить «лихие» 90-е, дополнили собой новый средний класс и теперь уже российскую элиту.

Феликс был человеком из совсем иной жизни – и это чувствовалось немедленно. Глаза из-за стекол поначалу так и буравили, что, мол, за фрукт. Конечно, и в его жизни было немало радости, человеческого тепла и любви, но это – дети, собаки, путешествия

- приоткрывалось постепенно, гомеопатическими дозами. Зато сразу ощущались строгость и сосредоточенность, какая-то особенная серьезность и посвященность. Во что – стало ясно позднее, когда на мой служебный адрес пришли такие нарядные и нежные, желтовато-голубые парижские томики исторического альманаха «Минувшее».

Свои первые научные работы по социальной истории советской науки Феликс опубликовал в ныне знаменитом самиздатовском альманахе «Память», первый выпуск которого появился в 1978 г. в русском эмигрантском издательстве. Исходно альманах был исследовательско-публикаторским проектом неформального интеллигентского кружка, объединенного единым пониманием исключительной роли архивного источника для исследования, понимания и интерпретации истории России XX века. Материалы для альманаха собирались и готовились в СССР еще в 1960-70-ые годы, когда едва ли не всякая не подцензурная публикация мысли, суждения, концепции, семейного или архивного документа, считались «общественно опасными», приравнивались властями к антисоветской агитации и нещадно карались. Разумеется, прямая и постоянная опасность жизни и свободе заставляла участников кружка вести в какой-то части конспиративный образ жизни и, по-видимому, отсюда и выросла одна из масок Феликса - «подпольного человека».

Одной из главных стартовых идей «Памяти» и наследовавшего ей «Минувшего» было противопоставление архивного источника, документа, факта – «советскому историографическому мифу», той концепции истории России / СССР XX века, которая на протяжении семидесяти лет созидалась официальной наукой на основе готовых идеологических лекал и разрешенной властями к использованию архивной базе. Как известно, прямым следствием «управляемой» науки в СССР стало исчезновение из истории страны целых пластов событий и имен; в этой мифологизированной и идеологизированной истории документ практически перестал быть собственно объектом исторического исследования, а из обихода историка вымывалась одна из главных составляющих профессии - источниковедение.

Парадоксальным образом закрытость большинства советских государственных архивов и историографический застой оказались, как мне кажется, очень полезными на начальном этапе деятельности «Памяти» и «Минувшего» и для самого Феликса, и для его друзей и коллег. С одной стороны, они как бы получили четкую проблемно-исследовательскую стратегию - поиск документальных свидетельств для изучения и

документирования «закрытых» в то время в СССР тем: история партийной оппозиции, казачества, цензуры, крестьянских и религиозных движений, политических репрессий, общественных настроений, русской культуры за рубежом и др. Результатом работы стало широкое введение в оборот «нетрадиционных» для советской историографии источников - документальных материалов семейных собраний, «самиздата», европейских и американских архивов, интервью, специально написанных по заказу альманаха воспоминаний (не приходится уточнять, что в то время такие материалы могли быть опубликованы только за границей СССР).

С другой стороны, закрытость архивных фондов стимулировала источниковедческий анализ всем доступного, опубликованного материала, развитие приемов источниковедческой критики и реконструкции. Достаточно напомнить о знаменитой публикации Б.Н.Равдина (под псевдонимом «Н.Петренко») во 2-м томе «Минувшего» (1986), в которой на основе анализа сообщений открытой советской периодической печати и опубликованных воспоминаний тонко и убедительно была реконструирована история последней болезни и смерти В.И.Ленина;

Работа Феликса по воссозданию социальной истории отечественной науки в первой половине XX в. была, пожалуй, еще более масштабной. В те времена сам термин «социальная история науки» был почти не ведом академическим историкам, что уж говорить о понимании его содержания и объема. Задолго до перестройки и «архивной революции» Феликс, скорее всего интуитивно, почувствовал необходимость и продуктивность живого дыхания «социальности» в истории науки и поставил перед собой задачу реконструировать в основных «узлах» фактически полноценную, насыщенную конкретными (известными и воскрешаемыми) именами, событиями и разнонаправленными связями, картину взаимоотношений между научным сообществом и советской властью после 1917 г. Изначально он пытался это делать на опубликованных источниках и достиг своего рода исследовательской виртуозности в обнаружении проблемных точек – скрытых и скрываемых, забытых, исключенных, выброшенных, непонимаемых и неприняемых.

В этом исследовании – пионерском для историографии российской метрополии того периода – история собственно Российской Академии наук / АН СССР («штаба советской науки») в 20-30-е годы, да и «дело Академии наук» 1929-31 гг., были, конечно, важнейшими связующими «блоками», на уровне которых Феликс умел

обозначать ключевые для всей проблемы «разрезы». Как немногие профессионалы, он вообще обладал способностью быстро и четко представить, наметить, а при необходимости и скорректировать, основные и перспективные «шурфы» будущей работы и сразу, безо всякого промедления и излишнего проговаривания, начинал их «бурить». Именно это свойство – абсолютная самостоятельность и независимость исследовательского мышления при учете накопленного историографического (в широком смысле) потенциала – делало его настоящим профессиональным историком. Пишу об этом специально, т.к. иногда приходилось слышать, что Феликс Перченок был всего лишь трудолюбивым и работоспособным разработчиком идей и концепций своих друзей, своего рода «спичрайтером», идущим по интеллектуальным следам «коллективного опыта», что, конечно, бесконечно далеко от реальности.

Феликс опубликовал очень немного по сравнению с тем, что наметил и даже вчерне набросал. Помню, летом, незадолго до последнего отъезда в Москву, он показывал мне расчищенный для новой, «главной», книги стол: слева – стопка нужных книг, справа – пачка бумаги. Но даже изданного вполне достаточно для того, чтобы считать его одним из самых ярких и самобытных историков российской науки XX века. Весьма характерно, что несмотря на сенсационную публикацию в 1993-1998 гг., уже после кончины Феликса, трех томов судебно-следственного «Академического дела» - богатейшего документального источника для изучения взаимоотношений науки и власти в СССР, никаких новых обобщающих исследований по этой проблематике так и не появилось (!). Такой «вес» было под силу взять только Феликсу Федоровичу.

Конечно, сегодня мы можем с горечью сказать, хвала богам (!), что Феликс, как и большинство историков его времени, не знал английского языка. В противном случае при его перфекционизме он мог забуксовать в большой и до сих пор малодоступной литературе, так и не написав «своего» текста, или же был бы очень разочарован, обнаружив, что многое из критической и концептуальной работы по освоению академической истории XX века уже задолго до него было сделано американскими исследователями, причем также на открытых источниках (А.Вусинич, Л.Грэхем и др.). Увы, закрытый режим нередко бьет по своим гражданам и таким бумерангом вынужденной вторичности. Однако параллельность хода ничуть не снижает значения сделанного Ф.Ф. и постоянный высокий индекс цитирования его «академических статей» в России и за рубежом - одно из свидетельств тому.

Феликс имел абсолютно свой, совершенно узнаваемый, голос, свой, ни с кем не сравнимый, индивидуальный почерк анализа и описания событий – с откровенной любовью и восхищением своими «героями» и презрением к «злодеям». Сегодня я иногда завидую Феликсу – он не успел разочароваться в своих героях. Открытие архивов все-таки внесло существенную, хотя и грустную, сбалансированность в наши представления о научном сообществе и его весьма амбивалентной внутренней жизни в советские годы. «Гении и злодеи», «наука и власть» - ныне такие метафоры и противопоставления годятся только для невысокой публицистики, хотя еще недавно они изрядно будоражили воображение и даже соединяли людей.

Последнее – возможно, самое главное следствие горбачевской «перестройки». Она открыла путь не только экономическим, политическим и идеологическим изменениям системы, но и придала импульс восстановлению естественной циркуляции межличностных отношений и образованию новой профессиональной, в том числе научной, среды. Тогда, в конце 80-х годов продолжали зримо существовать два разномасштабных цеха историков, каждый со своей гражданской позицией и научной программой, - официально-академическая наука и маргиналы-интеллектуалы советского андеграунда. Несмотря на казалось бы их несовместимость, горбачевский политический кислород сделал возможным их встречу, дискуссию и в ряде случаев – продуктивное сотрудничество.

Феликс, несомненно, был одним из тех очень немногих людей, которые и своими работами, и прежде всего самой своей личностью, служили своего рода соединительной тканью между цехами, домашними семинарами, разными поколениями и регионами, и в этом смысле формировали новые институты новой истории. В отличие от многих людей его круга, в Феликсе совершенно не было сектантства, элитарной замкнутости носителя «эзотерического знания», скрытости «подпольного» человека. Напротив, сам по себе человек-институт и в этом смысле самодостаточен и целен, Феликс постоянно и неустанно искал новых союзников, коллег, соавторов, учеников, единомышленников; он собирал их, объединял, сводил, знакомил, затевал новые совместные проекты, публикации, статьи, обсуждения. Любой его приезд в Москву – это всегда неустанные походы по людям и обществам.

Потребность Феликса в дружной коллективной работе иногда казалась наивной, очень «советской» или даже «пионерской», но, конечно, это была наивность романтика,

точно знавшего, что он ищет. Когда Феликс собирал эпистолярный «приютинцев», о которых я писала выше, чувствовалось, что эти занятия были для него не только и не столько предметом научного интереса, но важной частью собственного «жизнеустроительного» проекта. В «приютинской» истории он искал свою «утопию» - модель новых человеческих взаимоотношений, чистых, братских, гармоничных, и в этой своей первооснове не зависящих от изменений политических режимов и властей.

Не всегда люди сходились, а проекты - реализовывались, скорее даже наоборот. Но ни секунды не сомневаюсь, что если бы судьба отпустила Феликсу лет чуть поболее, он обязательно сформировал бы вокруг себя что-то вроде неформальной, всегда свободной и передвижной, московско-питерско-новосибирской (далее - везде) исследовательской лаборатории по истории науки, и тогда разведанная карта социальной истории российской науки могла бы быть совсем другой.

Последний месяц своей жизни – сентябрь 1993 г., Феликс Федорович провел в Москве. Мы часто встречались. Предчувствуя недоброе, он словно передавал связи и контакты, а знакомя с Ильей Сафоновым, так и сказал: мол, если что, эта особа продолжит дело. Я и продолжаю - по мере возможностей.